

(страница из дневника 1944 года)

Я увидел эту женщину из окна, когда лежал в госпитале в Моршанске в сорок третьем году.

Вставать мне ещё не разрешалось, и целыми днями я паялся в расположенный прямо над моей койкой спасительный прямоугольник, наполненный воздухом, светом и разгулявшимся июльским теплом. Читать я не мог, потому что, хоть ранило меня тогда несильно, контузия давала о себе знать, и глаза во время чтения болели. Разговоров я попросту не слышал: оглох. Оставалось только думать да смотреть, как по улице туда-сюда ходят разные люди, занятые своими делами, полетнему одетые в светлое – словно бы они что-то праздновали – словно бы не было никакой войны там, за пятьсот километров.

Женщина поразила меня: её вид, взгляд и движения – всё это я потом никак не мог забыть. Огромная квадратная голова, несоизмеримая со щуплым угловатым тельцем, покачивалась на тонкой шее – я замирал, когда женщина передвигалась по площади, касаясь руками земли и как бы переступая ими. Маленькие ноги свои, согнутые и поджатые к подбородку, она волочила за собой вместе с туловищем. Голова болталась, и я всё боялся, что она вот-вот перевесит и женщина упадёт. Лица её я почти не помню: она сосредоточенно смотрела вниз. Ходьба являлась для неё тяжёлой работой.

Взгляд мой словно прилип к ней. Конечно, неприлично было глазеть на это существо – но тогда я об этом не думал.

На следующий день она снова пересекала площадь, а потом прошла под самыми нашими окнами, и я смог разглядеть подробности. Больше всего меня поразило запястье, обхваченное браслетом, бирюзовые серьги в ушах и ожерелье на открытой шее. Она молча переступала руками и смотрела на дорогу. Когда я закрыл глаза, серьги передо мной всё ещё качались.

Потом она приснилась мне, и я даже подскочил среди ночи. Попытался подумать о жене, о Дусе, которая осталась на Гатчине (что с ней, где она сейчас?), потом стал мысленно рисовать линию фронта:

сейчас граница должна была уже смещаться к Орлу; наши наступали с севера. И всё с той же ноющей болью перед глазами возникла другая картина: женщина, ползущая через площадь на руках, и чёртовы голубые серьги. Как вызов всему – и нашей проклятой войне и её собственной проклятой жизни.

Потом я научился не смотреть в её сторону. Научился гнать навязчивые мысли. Постепенно ко мне возвращался слух, и я даже пытался участвовать в разговорах. Бойцы рассказывали о себе и о войне, а я всё больше слушал: в разговоре, как обычно бывает у контуженных, я громко кричал и скандировал. Понимая это, я ужасно стеснялся собственной речи и старался помалкивать.

Из одного разговора я узнал, что эта женщина, калека от рождения, вместе со многими другими моршанцами, с первого дня войны работала на местном заводе. Выполняла какие-то простые действия, стояла у конвейера, а может быть, мыла пол.

Ещё говорили, что совсем недавно, несколько недель назад, ей делали аборт в нашей больнице. После такого известия я совсем замолчал и несколько дней и вообще ни с кем не общался. Не имел такого желания.

Потом меня выписали, и я уехал в свою часть. Война была в самом разгаре. Но вот что странно: с тех пор прошло немало времени, а я всё помню эту женщину. Наверное, даже каких-то своих однополчан забыл, а её помню.

И странные мысли ко мне приходят, такие, что даже стыдно становится и страшно. И вроде бы я ни в чём перед ней не виноват. Ведь это не я, а какой-то другой человек сделал ей ребёнка. Откуда мне знать, кто это – может, мой сосед по палате, точно так же, пристально и тяжело, наблюдавший за ней каждый день, глядевший в окно, вытянув напряжённую шею – помню, как он с громким выдохом откидывался на подушку, когда знакомая фигура исчезала из виду.

Уж он-то, этот мой сосед, пожалуй, давно освободился от своих воспоминаний.

Хотя бы он – освободился. Дай-то Бог.

НЕ ПОСЛЕДНИЙ

Я тогда учился на шестом курсе.

После практического занятия по судебной медицине я заехал к Людке, потому что её родичи куда-то свалили.

Людка была моей девушкой. Она училась в консерватории. Играла на пианино, выступала, голос хороший.

Я не задумывался, красивая ли она – невысокая, блондинистая, с короткой стрижкой – но смотреть на неё мог часами. Значит, всё-таки

она была красивой. Хотя я никого не спрашивал об этом, а мой собственный вкус очень часто меня подводил.

Поначалу всё шло как обычно. Мы поели, посидели. В Людкиной комнате, кажется, сломалась полочка – я приехал как будто её чинить и честно работал без малого полтора часа. Потом мы пошли на кухню пить чай.

За столом Людка всегда болтала. Иногда – расспрашивала, что у меня новенького, дескать. Вот и сегодня.

– Ничего особенного, – говорю. – На судебке труп резали. Тётка из окошка выкинулась, алкогольное опьянение.

– Как, – спрашивает, – труп.

– Так, – говорю. – Практическое занятие.

– И что, прежде чем ко мне приехать, ты тётке живот вспарывал? А сама застыла, даже чашку отодвинула.

– Ну не вспарывал, – отвечаю, – А делал аккуратный разрез от инцизуры югулярис примерно до уровня лобка.

– До уровня... чего?

– Людка! Забей, – говорю. – Ну что ты как неродная. Вообще-то я в медицинском учусь. Привыкнуть пора.

А она приблизилась ко мне, словно поцеловать хочет, а сама глаза прикрыла и принохивается.

– Так вот, – говорит, – чем пахло от тебя. Трупом.

Я было подумал, что шутит Людка. Мало ли, какой у девушек юмор. Но смотрю – глаза у неё стали не серые, как обычно, а серебристые, алюминиевые какие-то. И на щеках желвачки высунулись.

– Ну, пошло-поехало, – говорю. – Давай я лучше за вином сгоняю.

– Нет, погоди, – говорит, – А вот на руке-то что у тебя было?

И сама рукав мне закатывает. Гляжу – и правда над запястьем у меня какая-то коричневая хрень. Наверно, перчатка на занятии сползла, а я и не заметил. Когда препод показывал, как из трупа органокомплекс доставать – я сунулся в поддиафрагмальное и, видимо, рукой задел. И Людочка мне в это место теперь пальчиком наманикюренным тычет.

– Да, – говорю, – ну и что. Подумаешь, кровь.

У неё даже лицо застыло.

– Кровь трупа? – говорит, – Твою ж мать.

Никогда Людочка при мне ещё не ругалась.

– Ну, – говорю, – А если бы я таксистом работал? И от меня бы бензином воняло?

– Бензин это химия, – говорит. – Бензином можно.

Я встал и подошёл к раковине.

– Не смей, – говорит Людка, – в моей раковине кровь трупа с себя смывать.

И тут я взвился.

– А какая, – говорю, – разница, ты же делаешь на ужин гуляш, отбивную... Там тоже кровь. Кровь невинно убиенного скота.

– Я не ем мяса, – прищутив глазки, сказала Людка, и голос у неё сделался совсем уж противный. – Я вегетарианка, пора бы запомнить.

И тут я медленно подумал, что уже вечер, а до дому ехать целый час. Что дома родители, что нужно готовиться к зачёту, а время идёт. Думал я медленно, но с каждой новой мыслью мне становилось легче и проще. Я начал собираться. И руки всё-таки вымыл.

– Ну и дура, что мясо не ешь, – сказал я и со злостью кивнул на портрет, висящий над Людкиным пианино. – И этот... Шуман твой тоже труп. Потому что помер давно.

– Это не Шуман, – тоненько откликнулась Людочка. – Это вообще Лист.

Она так и сидела на кухонном диванчике, маленькая, похожая на скомканный кусок проволоки.

– Пофигу, – сказал я и запихнул ноги в сырые ещё ботинки.

Я пошёл к остановке, было промозгло. Ничего не поделаешь, середина зимы, и поэтому много холода лежало позади меня и впереди. Полость улицы тоже оказалась безлюдной, автобусы не ходили. По дороге к метро я свернул в продуктовый и взял маленький дешёвый коньячок. Как выяснилось, абсолютно синтетический, но в коньяках я тогда тоже ещё не разбирался.

Я сел в метро на свободное место, прикрыл глаза и попытался вспомнить свой первый курс и первый труп. И труп, хоть убей, никак не вспоминался. Зато на поверхность мыслей постоянно выкатывалась серебристая алюминиевая проволока, скомканная, изогнутая. И я понимал, что никак её теперь уже не распрямить.

В метро сквозило, голубоватый свет падал на бледные лица людей, а впереди меня и позади было, как и прежде, очень, очень много холода.

РОСЕДАЛЬ

Конференция заканчивалась сегодня, а билеты Юля взяла на воскресенье. Оставалось целых два дня и ещё небольшой хвостик. За это время она рассчитывала сделать многое: обойти весь Буэнос-Айрес и, наконец, она обещала Хавьеру прогулку! Может быть, эта встреча что-то значит. А может и нет. Распознать важность происходящего невозможно, нет даже минутки сесть и серьёзно поразмыслить. За эти несколько дней время приобрело совсем другое качество, оно спрессовалось и вместило в себя столько, сколько Юля раньше не проживала и за месяц.

После их ужина во вторник (ужин закончился спешным завтраком), они с Хавьером толком и не виделись; доклады он посещал выборочно, а по окончании официальной части куда-то сбегал. Юля понимала, что он не обязан носиться с ней по городу: мало ли какие могут быть дела у человека, мало ли какой быт. Это у меня, как у Синбада, «в каждом порту по жене», усмехалась она про себя. Но Хавьер обещал ей показать что-то особенное, и они договорились прогулять всю сегодняшнюю программу.

Было солнечно и ветрено. Хавьер сидел на каменной плите возле памятника Гарибальди и подбрасывал на ладони камешек; издали он ещё сильнее походил на мальчишку, на салагу-студента.

Юля машинально помахала ему рукой. Хавьер помахал в ответ. Потом подцепил на плечо какую-то кожаную торбу, спрыгнул с уступа и, слегка загребая ногами, побежал навстречу. Никаких сомнений: он искренне рад ей. Где-то в горле у неё засвербила лёгкая досада – на него, на себя ли, а может, на само это растянутое, деформированное, чужое время, в котором приходится плыть без карты и руля. Но волна досады поднялась и так же быстро отхлынула. Они приветственно, по-дружески, поцеловались и пошли в сторону парка.

На широком проспекте не было машин, зато прямо под открытым небом красивый темнокожий парень давал уроки сальсы: из динамиков лилась музыка, и Юля шла, слегка пританцовывая – как бы сама по себе. Хавьер улыбался и кивал головой в такт. Они двигались по проезжей части с жёлтой двойной посередине, и все вокруг тоже гуляли не по тротуарам, а прямо по двойной сплошной. Редкие машины притормаживали и пропускали пешеходов.

Слева от дороги в холодной воде широкого искусственного канала плавали утки, по правую сторону – простирались пустые пространства желтовато-зелёных газонов. Пальмы чередовались с лиственными деревьями, а за чертой парка высились аскетичные спины небоскрёбов.

Показался белый мост, похожий на висящую в воздухе прозрачную китайскую беседку, и сквозь его решетку текло холодное солнце. Юле ни о чём не хотелось говорить. Хавьер что-то рассказывал ей про конструкцию моста, но она знала, что забудет всё, что он говорит – и забудет очень быстро.

Потом они побрели по широким аллеям, с растущими вдоль дорожек старыми деревьями, почти не дающими тени: многие стояли совсем без листьев, Хавьер называл их, а Юля пропускала названия мимо ушей.

– Вот здесь начинается роседаль, – сказал Хавьер.

Роседаль – это большое пространство, засаженное розами, такое существует, наверное, во всех городах планеты. В Сокольниках,

например, подумала Юля. В Питерском ботаническом саду. В любом большом парке. Ничего особенного.

Она не любила розы. Эти цветы казались ей слишком вычурными, чрезмерными. По этой же причине ей вчера не понравился модный квартал Ла Бока и улица Каминито, где толкуются туристы, а возле входа в кафе одышливый человек в шляпе пытается изобразить Гарделя.

Июньские зимние розы качались от ветра. Здесь были целые цветочные заросли, но между ними ютились и аккуратные клумбы со стоящими рядом скамейками. На скамейках сидели люди, кто-то читал книгу, кто-то жевал бургер.

– Есть такая песня: «I never promised you a rose garden», – сказала Юля.

– Никогда не слышал! – улыбнулся Хавьер и огляделся. – Я сам давно не был здесь.

Они прошли чуть дальше, мимо памятников каким-то неизвестным культовым фигурам, навсегда застывшим серыми угрюмыми тенями. Хавьер опустил свою цилиндрическую торбу на ближайшую скамейку.

– У меня сегодня последняя попытка тебя удивить.

Он достал из сумки и ловко подбросил в воздух маленькую тыквенную колобашку. – Я буду учить тебя пить мате. Только не отказывайся сразу.

Мате был горьким. В колобашку, заполненную разбухшей травой, Хавьер то и дело добавлял кипятка из термоса, который тоже извлекли из пузатой сумки. Крепкую бодрящую горечь потягивали по очереди через серебряную трубочку с плоским наконечником. Солнце понемногу спускалось с горы.

– Роседаль, – сказала Юля, – Очень красиво звучит.

– Один мой друг, – сказал Хавьер по-русски, – Хочет, чтобы его здесь похоронили. Некоторые мои друзья это знают.

– Вот здесь? – Юля посмотрела на него с недоверием.

– Здесь, или там, или вон там. Всё равно. – Хавьер передал колобашку Юле. – Очень многие так делают.

– Но тут нет могил.

– И не надо. Зачем? Люди просто приходят ночью и где-нибудь закапывают прах своих близких.

– А полиция? Она в курсе?

– Конечно, в курсе, – улыбнулся Хавьер. – Это официально запрещено. Полиция как будто следит. Но на самом деле, если кто-то уже похоронен, не будет же полиция его раскапывать обратно.

– Ну... – Юля не нашлась, что ответить. – А как отмечают место, чтобы не забыть, где кто похоронен?

– Для этого просто нужно помнить.

Юля отдала Хавьеру колобашку, откинулась на спинку и улыбнулась.

– Придётся запомнить, – сказала она.

– Мой друг был бы рад, – сказал Хавьер.

– Ты появишься до воскресенья? – спросила Юля.

– В субботу – обязательно, – сказал Хавьер. – Я должен тебя проводить.

– Не забудь. Мой самолёт в девять вечера.

– Да, нужно помнить. Я же говорю: просто нужно помнить, – ответил Хавьер.

У него был очень трогательный, мягкий акцент.

И Юля всё никак не могла понять, случилось ли за эти дни что-то особенное, или это была ещё одна игра, ещё одна внезапная вспышка, и она скоро погаснет и забудется сама по себе. «Придётся запомнить», усмехаясь, мысленно повторила она – «На этот раз придётся».

Был ещё путь до гостиницы. Они видели группу полицейских недалеко от Обелиска, где на земле лежал большой продолговатый свёрток. Нечто замотанное в белую ткань, и под этой неаккуратной драпировкой только острые очертания окаменевших человеческих ступней были особенно хорошо различимы в темноте.

Хавьер приобнял свою спутницу за плечи, слегка подтолкнул её, – и они, не оборачиваясь, прошли мимо.